

*Майклу — Hermosura**

* Hermosura — красота, прелесть (исп.).

Алиби — этимология: от *лат.* *alibi*,
«где-либо в другом месте», устар. вариант предложного
падежа от *alius*, «другой».

Оглавление

Лаванда	11
Сокровенность	35
Мой миг с Моне	61
Повременить	79
Размышления неопределившегося еврея	97
Путешествие литературного пилигрима в прошлое	112
Сослагательный странник	119
Часы в Риме	125
Море и память	140
Площадь Вогезов	152
В Тоскане	169
Барселона	178
Нью-Йорк, лучезарный	188
Камера хранения	199
И здания тоже погибли	203
Рю Дельта	207
Послесловие	221

Алиби

Лаванда

I

Жизнь начинается где-либо в другом месте и пахнет лавандой. Отец мой стоит перед зеркалом. Он только что принял душ и побрился, сейчас наденет костюм. Я смотрю, как он затягивает узел галстука, опускает уголки воротника, застегивает рубашку. И — вот оно, как всегда: лаванда.

Я даже знаю откуда. На туалетном столике стоит флакон причудливой формы. Помню: у меня тяжелый приступ мигрени, я лежу на диване в гостиной, мама лихорадочно придумывает, как бы отвлечь меня от боли, берет флакон, свинчивает крышку, смачивает жидкостью платок, подносит мне к носу. Тут же становится легче. Платок остается у меня. Мне нравится держать его в кулаке, слегка запрокинув голову, будто была драка, меня ударили в лицо и кровь еще не унялась, — а еще так иногда выглядели другие люди, хворые или подавленные, они бродили по дому, время от времени нюхая скомканные носовые платки, — и это было похоже на последнее обреченное усилие удержаться от обморока. Платок мне нравился, нравился и таинственный запах, исходивший из его складок, нравилось тайком приносить его в школу и украдкой доставать

на уроке, потому что запах возвращал меня к родителям, в их гостиную, в мир, где царил такой неизбывный покой, что сам его аромат обволакивал меня хранительным облаком. Вдохнуть запах лаванды — и я обласкан, счастлив, любим. Вдохнуть запах лаванды — и в голову приходят добрые мысли о жизни, о близких, о самом себе. Вдохнуть запах лаванды — и какие бы расстояния нас ни разделяли, мы все оказываемся в одной теплой уютной комнате, где много пухлых подушек и огонь в очаге, а по крыше барабанил дождь, напоминая, что мы в укрытии. Вдохнуть запах лаванды — нам не грозит разлука.

Старый отцовский одеколон продается по всему миру. Достаточно войти в любой большой универсальный магазин — и вот он, пожалуйста. Полвека прошло, а вид флакона не изменился. Я мог бы — будь я достаточно предусмотрителен, чтобы не рисковать тем, что в один прекрасный день я найду в магазине, а там его нет, — приобрести флакон и где-то его хранить как символ отца, моей любви к лаванде или того осеннего вечера, когда, будучи уже подростком, я пошел с мамой покупать себе первый лосьон для бритья, не смог выбрать, один вернулся в магазин на следующий вечер, после уроков, — и, к великой своей радости, обнаружил, помимо прочего, что мужчинам дозволено наносить на себя разные ароматы под тем предлогом, что им нужно бриться.

Меня ошарашило многообразие ароматов на свете, а еще сильнее ошарашило то, что среди них нашелся и лосьон моего отца. Я попросил продавца дать мне попробовать этот запах, намеренно произнес название лосьона не так, наигранно удивился, разглядывая конусообразный пузырек, как будто передо мной чужак, которого я по ошибке поприветствовал, зная, что дома мы с этим флакончиком

в самых задушевных отношениях, зная, что ему ведомы не только все извивы самых тягостных моих мигреней — как вот мне ведомы все изгибы его тела, — но ведомы ему и мои воображаемые побеги из школы в материнский платок, а про фантазии мои ему ведомо больше, чем я дерзаю ведать и сам. Тем не менее там, в магазине, который вот-вот должен был закрыться на ночь, — моя неспособность сделать выбор вызывала у владельца нарастающее нетерпение — меня зачаровало нечто новое, нечто одновременно и опасное, и притягательное, как будто все эти бесчисленные пузырьки, аккуратно расставленные рядами по торговому залу, хранят в себе обещания ночей в больших городах, в которых все — здания, огни, лица, лакомства, места и мосты, которые мне предстоит пересекать, — делает мир желаннее прежнего, хотя бы потому, что и сам я благодаря тому или иному зелью сделался желанным — для других или для самого себя.

Я целый час нюхал разные флаконы. В результате купил лавандовый одеколон, но не тот, что был у отца. Заплатил, попросил завернуть по красивее — и почувствовал себя так, будто мне выдали свидетельство о рождении или новый паспорт. Теперь это и есть я — вернее, этим я мне предстоит быть, пока флакон не опустеет. А там и вернемся к этому разговору.

Со временем я открыл для себя множество разновидностей лаванды. Бывает лаванда легкая, эфемерная; бывает нежная и робкая; встречается пышная, назойливая; бывает терпкая, как будто ее срезали в поле и оставили настаиваться в котле с уксусом; попадаетса невыносимо сладкая. Порой лавандовые духи пахнут как целая грядка с пряными травами, порой в них сквозит столько специй, что основу уже и не различишь.

Я экспериментировал со всеми, накопил множество пузырьков, причем не только ради того, чтобы собрать полную коллекцию, и не в поисках идеальной лаванды — скрытой лаванды, ур-лаванды, что превыше всех лаванд, но потому, что мне страшно хотелось доказать или опровергнуть одну вещь, которую я заподозрил с самого начала: что лаванда, о которой я мечтаю, — это та самая, с которой я вырос и к которой обязательно вернусь, установив, что все остальные мне не подходят. Возможно, искал я именно беспримесную лаванду. Обыкновенную. Папину. Уходишь в большой мир, приобретаешь там самые разные привычки, выучиваешь множество языков — и пренебрегаешь лишь одним, тем, на котором говорили дома, как вот обычаи, которые тебе всего ближе, это те обычаи, про которые ты знать не знал, что это обычаи, пока не увидел, что у других людей они совсем иные, — и сразу понял, что собственные тебе очень даже по душе, хотя от них ты успел отстраниться до такой степени, что уж и не помнишь, в чем их суть. Я собрал все запахи мира. Но мой аромат — каков он, мой аромат? Был ли у меня когда-то собственный аромат? Будет у меня аромат единственный — или мне захочется присвоить их все?

Накупив несколько лосьонов для бритья, я скоро выяснил, что все они склонны терять свой блеск, как вот некоторые актиноиды проживают короткую радиоактивную жизнь, прежде чем претвориться в свинец. Некоторые пахли слишком сильно, или слишком слабо, или слишком сильно вот тем и недостаточно сильно вот этим. В некоторых не хватало проявления моей сути, другие намекали на то, что и вовсе не было мной. Наверное, выискивая недостатки каждого аромата, я одновременно выискивал недостатки и в самом себе — и таковой была не только не-

способность выбрать правильный аромат и даже не только помыслы о том, что мне аромат вообще нужен, а моя уверенность, что одеколон своею благодатью способен подтолкнуть меня к новой жизни, о которой я так мечтал.

Впрочем, даже критикуя каждый новый аромат, я постепенно к нему привязывался, как будто то неведомое, что было связано не столько с самими ароматами, сколько с той частью моей души, которая искала их неустанно, соблазнялась ими и в итоге благодаря им расцветала, нельзя было утратить ни за что. Случается, что история недолговечных привязанностей для нас важнее самих привязанностей, как вот история романтических отношений окрашена романтикой сильнее, чем сами отношения. Порою к сакральному мы обращаемся через слепой ритуал, не через веру, — так привычка, а не характер делает нас теми, кто мы есть. Порою в одежде и аромате, которые мы носим, сущности нашей больше, чем в нас самих.

Поиск идеальной лаванды был подобен поиску той части моей души, которая только в аромате и нуждалась для того, чтобы выйти из вселенской спячки. Я искал ее так же, как искал свою цветовую гамму, марку сигарет, любимого композитора. Отыскав правильную лаванду, я в конце концов смогу сказать себе: «Да, это я. И где же я был все это время?» И все же стоит купить этот аромат, и это самое «я», которое должно вот-вот проклюнуться, — как то самое «мы», которое проклевывается, когда мы покупаем новую одежду, или оформляем подписку на журнал, нам идеальным образом подходящий, или оформляем абонемент в спортивный клуб, или переезжаем в новый город, или открываем новую религию и совершаем новые обряды с новыми единовѣрцами, среди которых заводятся новые друзья, — это самое «я», понятное дело, оказывается тем

самым, которое нам всегда хотелось замаскировать или отогнать. Действительно, чего я ждал? Аромат другой, человек тот же самый.

За последние тридцать пять лет я перепробовал едва ли не все одеколоны и лосьоны для бритья, до которых додумались производители парфюмерии. Не только с лавандой, но и с сосной, ромашкой, чаем, цитрусом, жимолостью, папоротником, розмарином, с дымными вариациями самых тонких пряностей и кож. Нет для меня занятия любезнее, чем уставлять аптечный шкафчик и бортик ванны флакончиками в два-три ряда, и каждый из этих флаалов — крошечное непроклянувшееся воплощение того, кем я был, или хотел быть, или стремился стать в будущем. Аромат А: приобретен в таком-то году в надежде на встречу со счастьем. Аромат Б: приобретен, когда аромат А почти закончился; помог мне отказаться от А. В, знаменующий собою внезапную усталость от Б. Г получен в подарок. Никогда он мне не нравился; носил, чтобы порадовать дарительницу, прекратил, как только она исчезла из моей жизни. Потом появился Д, который так мне понравился, что в итоге я приобрел Е с девятью его братьями производства того же парфюмерного дома. Из-за Е утомился от Д вместе со всеми его изотопами. Обрел Ж. Возненавидел его, как только понял, что он нравится глубоко несимпатичному мне человеку. Появился З. Как я обожал З! С З мы провели вместе много лет. Его больше не выпускают — нужно было вовремя запастись впрок. С другой стороны, при всей моей к нему любви я от него отказался задолго до того, как его прекратили производить. Вернулся к Д, который мне всегда нравился. Да, то, что надо. Но тут я понял, что с самого начала что-то было немного не так, в Д чего-то не хватало. Опять перестал им пользоваться. О женщине, которая

на миг заглянула в мою жизнь и за десять дней нашего знакомства изменила меня навеки, я помню одно — подарок. Я продолжаю носить подаренный ею аромат в знак надежды на то, что она уже скоро вернется. Тому двадцать лет, и от нее остался только флакончик, который напоминает не столько о ней, сколько о том, каким я некогда был любовником.

За свою жизнь я многое выбросил в мусор. Но ни одной бутылочки из-под лосьона для бритья. При каждом переезде я везу их с собой — как вот древние брали с собою в странствие маски предков. В каждой бутылочке заключена часть моей души, я в формальдегиде, мой дух. Можно, как в арабской сказке, потерять сосуд и вызвать оттуда меня прежнего. Иной вызванный, несмотря на протекшее время, оказывается живым, хотя среди моего имущества давно уже нет тех вещей, в которые эти запахи облачены и которыми обладают; другие вызванные попросту скончались или стали настолько скучны, что мне не хочется иметь с ними ничего общего; я забыл их телефонные номера, любимые песни, мимолетные причуды. Я беру в руки старый аромат и внезапно вспоминаю, почему он воскрешает в памяти самые искрометные дни моей жизни — искрометные не потому, что они были счастливыми, а потому, что я столько времени провел, взыскую счастья, что задним числом кажется, будто часть этого воображаемого счастья перетекла в реальность и пропитала своим запахом целую зиму, обтянув пленкой счастья дни, про которые я всегда твердо знал: мне вовек не захочется пережить их снова. И вот я держу флакон, который кажется мне драгоценнее очень и очень многих вещей, и начинаю думать, что рано или поздно некто горячо мною любимый — именно любимый и горячо — случайно заглянет

сюда, откроет его и подивится, что же мог для меня значить этот аромат. В чем именно я все эти годы пытался поддержать огонек жизни? Это запах ранней весны, когда мне позвонили и сказали, что все сложилось, как я хотел. Это вечера рядом с мамой, когда она приехала повидаться со мной в центре города, и я подумал, какой же она стала старенькой, — я только что сообразил, что она была на десять лет моложе меня нынешнего. Это ночь в ля-миноре. «А это? — начнут допытываться они. — Это вот что?»

Запахи не истаивают десятилетиями, и те, кого мы любим, могут потом по ним вспоминать нас годами, однако легенда, заключенная в каждом флаконе, герметизируется в момент нашего ухода. Больше наш дух не заговорит ни с кем. Он лишь следит, как те, кого он любил, открывают флакон и приступают к исследованию. Ему смерть как хочется выкрикнуть с неистовством десяти розеттских камней, которые умоляют сквозь века, чтобы их услышали: «Вот в этот день я познал удовольствие. А вот это — ну как вы можете этого не знать? — это тот вечер, когда мы встретились, стоя после концерта возле Карнеги-Холла, и с какой легкостью одно повлекло за собой другое, и потом, когда пошел дождь, мы некоторое время подождали под укусиной — обоим не хотелось уходить, дождь стал удобным предлогом, начало беседы двух незнакомцев, — а потом метнулись в ближайшее кафе, там — гнусный кофе, сырая обувь, мокрые волосы, смурной официант-иностранец, что-то пробормотавший на невыразимском, когда мы дали ему щедрые чаевые, — мы сидели и говорили про Малера и про “Четыре квартета”, и никто, даже мы сами, ни за что бы не догадался, что потом мы окажемся вместе в квартирке-студии на Верхнем Вест-Сайде». Вот только голоса не слышно. Умереть — значит забыть, что ты когда-

то жил. Умереть — значит забыть, что ты любил, страдал, обретал и утрачивал желаемое. Завтра ты скажешь себе: я ничего не вспомню, не вспомню этого лица, колена, этого старого шрама, руки, которая все это пишет.

Флаконы для меня — дублеры. Я храню их, как древние египтяне хранили свою утварь: на тот день, когда она потребует в загробной жизни. Расстаться с ними сейчас — значит умереть до срока. И тем не менее случаются моменты, когда я думаю: а ведь здесь должно быть много, очень много других флаконов, не только тех, которые я потерял или позабыл, но и тех, которыми никогда не обладал, о существовании которых и не подозревал даже, но они — не помешай нам нечто малозначительное — могли бы придать моей жизни совершенно иной аромат. Вот улица, по которой я прохожу каждый день и не подозреваю, что через много лет она приведет к некоей квартире, про которую я пока ведаю не ведаю, что однажды она будет моей. Как же я могу этого не знать — или науки не существует вовсе?

И наоборот, есть места, с которыми мне доводилось распрощаться задолго до того, как пришлось их покинуть, — места и люди, чье исчезновение я репетирую раз за разом, не просто чтобы понять, каково будет жить без них в назначенный срок, но и чтобы отсрочить разлуку, предвосхитив ее заранее. Я живу в темноте, чтобы не ослепнуть, когда сгустятся сумерки. Так же я поступаю и с жизнью, придаю ей дополнительную условность и непрогнозируемость, только чтобы забыть о том, что однажды настанет мой день рождения, а мне уже будет не суждено его отпраздновать.

И сколь же непредставимо, что те, кто причинил нам невыносимую боль, вывернул нас наизнанку, в какой-то момент были совершенными незнакомцами, для нас

как бы еще и не рожденными. Может быть, мы многократно встречались с ними тут и там, указывали им дорогу на улице, открывали дверь, вставали, чтобы пропустить их на место в заполненном концертном зале, — и ведьать не ведали, что именно этот человек разрушит нас в глазах всех остальных. Я с радостью отсек бы от своей доли несколько лет в конце жизни, чтобы вернуться вспять и перехватить тот вечер под укосиной, когда оба мы накинули пальто на головы и помчались сквозь струи дождя пить кофе, и я тогда произнес — почитай, и не подумав! — не хочется пока говорить «спокойной ночи», хотя дело уже и шло к рассвету. Я не пожалел бы нескольких лет — не ради того, чтобы переписать или вычеркнуть этот вечер, но чтобы поставить его на паузу и, как оно всегда бывает, когда мы берем какой-то интервал времени в скобки, получить возможность гадать до бесконечности, кем бы я стал, если бы дело приняло иной оборот. Время, по своему обычаю, оказывается не в том грамматическом времени.

Вдоль стен аптеки Санта-Мария-Новелла во Флоренции тянутся ряды крошечных ящичков, и в каждом из них таятся иные ароматы. Здесь я бы мог создать собственный музей ароматов, собственную лабораторию, воображаемый Грасс — парфюмерную столицу Франции со всеми этими его забавными ателье, узкими переулками и петлистыми проходами, соединяющими одну фабрику с другой. В моем музее ароматов даже составитя собственная периодическая система, в которую войдут все запахи моей жизни, начиная, понятное дело, с самых простых и легких — лаванды, водорода в мире ароматов, — а за ним будут расположены второй, третий, четвертый, и все они будут стоять в ряд веками моего бытия, как будто в течении вре-

мени действительно есть свой метод. На место гелия (He, атомный номер 2) у меня встанет «Эрмес» (Hermes), на место лития (Li, 3) — «Либерти»; «Бернини» займет место бериллия (Be, 4), «Босари» — бора (B, 5), «Карвен» — углерода или карбона (C, 6), «Найт» — азота, он же азот (N, 7), «Оникс» — кислорода или кислорода (O, 8), а «Флорис» — фтора (F, 9). И глазом не успеешь моргнуть — а вот уже вся моя жизнь разложена на эти элементы: «Арден» вместо аргона (Ar, 18), «Кнайз» вместо калия (K, 19), «Каноз» — кальция (Ca, 20), «Герлен» — германия (Ge, 32), «Ив Сен-Лоран» — иттрия (Y, 39), «Пату» — платины (Pt, 78) и, понятное дело, «Олд спайс» вместо осмия (Os, 76).

Как и в периодической таблице Менделеева, ароматы можно распределить по рядам и категориям: по травам, цветам, фруктам, пряностям, древесине. Или местам. Людям. Любоям. Гостиницам, в которых то или иное мыло одело флером незабываемого аромата тот или иной великий город. По фильмам, блюдам, костюмам, концертам, которые нам понравились. По духам, которыми пользовались женщины. Или даже по годам — флаконы можно снабжать ярлыками, как это делала моя бабушка: она на каждой банке с цитрусовым джемом проставляла надпись своим старческим почерком, отмечая, из чего и в каком году он изготовлен, — как будто каждому аромату присвоен собственный номер *Werke Verzeichnis. Aria di Parma* (1970), *Acqua Amara* (1975), *Ponte Vecchio* (1980).

Лосьоны для бритья, которыми я пользовался в 18 лет и 24 года, — запахи разные, но вносим их в один столбик: их объединяет поездка в Италию. Я в 16 лет и я же в 32 года: возраст удвоился, но я все еще нервничаю, прежде чем в первый раз позвонить женщине; в 40 я так и не научился решать математические задачи, в которых

не разобрался в 20; многократно перечитав «Грозовой перевал» и посвятив ему много лекций, я в 48 лет все равно лучше всего помнил аромат, под который впервые открыл эту книгу в 12, четыремя «поколениями» ранее. Я в 14, 18, 22, 26 — жизнь, переложенная в отрезки из четырех единиц. Я в 21, 26, 31, 36 — то же, но из пяти. Метод фолио, кварто, октаво — половинками, четвертинками, осьмушками. Жизнь, представленная в виде ряда Фибоначчи: 8, 13, 21, 34, 55, 89. Или Паскаля: 4, 10, 20, 35, 56. Или простыми числами: 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Или комбинациями всех трех: в 21 год я был хорош собой, почему я сам так не думал? Столько всего со мной происходило в 34, почему мне так хотелось снова стать тем, кем я был в 17? В 17 спал и видел, чтобы мне исполнилось 23. В 23 мечтал встретить девушек, с которыми был знаком в 17. В 51 все бы отдал, чтобы мне было 35, а в 41 готов был дерзнуть и сделать то, на что бы не отважился в 23. В 20 лет 30 казалось мне идеальным возрастом. Удастся ли мне в 80 убедить себя, что мне вполтину меньше? Забрезжит ли в снегах лето?

Со временем не договоришься. Мы живем по Фибоначчи: три шага вперед, два назад, или наоборот: три вперед, пять назад. А бывает, что и в обоих направлениях одновременно, в стиле «Крабьего канона» Баха, сплетая комбинации ароматов и выборочных приязней в нечто, что оказывается бесконечной последовательностью эфиров и благовоний, которые начинаются с простейших и разрастаются до очень сложных: один атом углерода, два, три; шесть атомов водорода, восемь, десять... $C_3H_6O_2$, этилформиат; $C_4H_8O_2$, этилацетат; $C_5H_{10}O_2$, этилпропионат; $C_5H_{10}O_2$, метилбутаноат (у него запах яблок); $C_5H_{10}O_2$, пропилаэтанат (запах груш); $C_6H_{12}O_2$, этилбутират; $C_7H_{14}O_2$, этилвалерат (банан); $C_8H_9NO_2$, метилантранилат (виноград); $C_9H_{10}O_2$,

бензилацетат (персик); $C_{10}H_{12}O_2$, этилфенилацетат (мед); $C_{10}H_{20}O_2$, октилацетат (апельсин-абрикос); $C_{12}H_{24}O_2$, этил деканоат (коньяк); $C_9H_6O_2$, кумарин (лаванда). Скажи «лаванда» — и вот тебе аромат, цепочка, жизненный путь.

В этом и состояла гениальность Менделеева. В понимании, что, хотя он и способен определить любой элемент, многие из них еще не открыты. Поэтому он оставил в таблице пустые места — для отсутствующих, грядущих элементов — как будто жизненные события можно выстроить в столь четкую идеализированную числовую последовательность, что, даже если и не знать, когда они случатся и какое воздействие окажут, их все равно следует ожидать, высвободить для них место еще до их наступления. В том же ключе я рассматриваю и свою жизнь, вглядываюсь в слепые места: в запахи, которые так для себя и не открыл; флаконы, на которые не наткнулся и не проведал про их существование; обличия, которые так и не принял и потому по ним не скупаю; в интервалы времени, которые мог бы прожить, но не прожил; в людей, с которыми мог бы встретиться, но встречу пропустил; места, в которые мог бы попасть, влюбиться в них и в итоге сделать своим домом, но до которых так и не добрался. Это пустые клетки, «редкоземельные» моменты, непройденные пути.

II

Есть и еще один аромат, женские духи. Не знаю никого, кто бы ими пользовался. Никто с ними не ассоциируется.

Я открыл его однажды осенним вечером, возвращаясь домой с университетского семинара. В Кембридже, что в штате Массачусетс, на Брэтл-стрит есть одна высоко-

классная аптека, и мне случалось — просто чтобы поваландаться и не попасть домой раньше нужного — пойти кружным путем и в ней приостановиться. Мне нравилась Брэттл-стрит в районе Гарвардской площади, особенно ранним вечером, когда витрины магазинов сияют, а люди возвращаются с работы, заканчивают дневные дела, кто-то ведет за руку детей, суета прохожих придает тротуарам плотность, которую я со временем полюбил, — хотя бы потому, что она вроде бы содержала в себе посулы на вечер, пусть я уже успел убедиться в их лживости. Только на тротуаре я и чувствовал себя дома в этой неприветливой безликой части города, где столько времени и столько лет растратил в одиночестве, где все, кого я знал, всегда были слишком заняты слишком мелочными заботами. Я скучал по дому, по людям, ненавидел одиночество, скучал по чаю, пил чай в одиночестве, чтобы вспомнить, каково это — чай рядом с кем-то еще.

В такие вечера алжирские кафе всегда заполнялись до отказа. Приятно было выпить чаю с незнакомцами, пусть даже я с ними никогда и не заговаривал. Зиккурат чайных жестянок высился на захламленном прилавке за кассовым аппаратом. В итоге я перепробовал все чаи, от дарджилинга до формозского улуна, лапсана-сушена и зеленого пороха. Само представление о чае нравилось мне больше собственно вкуса — так и табак приятнее представлять, чем курить, а составлять представление о людях приятнее, чем с ними дружить, и моя квартира на Крейги-стрит была куда хуже представления о доме.

Аптека находилась в конце череды магазинов возле угла Черч-стрит. Крайняя точка перед тем, как повернуть и направиться к дому. Я зашел туда однажды вечером. Внутри оказался мир совсем иной, чем я себе воображал.

Крошечная аптека была забита дорогими косметическими средствами, дорогими духами, шампунями со всех концов земли, кусками мыла из Старого Света, бальзамами, лосьонами, полосатыми зубными щетками, кисточками из натурального меха, имперскими кремами для бритья. Мне там очень понравилось. Старомодные шкафы, старомодные товары, общая старина этой лавки — во всем, вплоть до стародавних бритв и пожилых владельцев из Центральной Европы, — все это выглядело таким приветливым, уютным. Вот я и спросил — нельзя же просто валандаться, ничего не купив, — лосьон для бритья, про который думал, что его не окажется, а выяснилось, что он не только есть в наличии, но с ним и еще целая линейка той же фирмы. Вот и пришлось купить вещь, пользоваться которой я перестал лет десять назад.

Через несколько дней я пришел снова, и не только потому, что визит в аптеку позволял отсрочить неизбежное возвращение домой, не потому, что хотелось повторить этот опыт — дверь открывается, перед тобой целая вселенная ушедшей в прошлое галантереи, — а потому, что сама эта лавка стала последней остановкой в воображаемом Старом Свете, прежде чем мир превратится в то, чем является на самом деле: в Кембридж.

Еще раз я пришел однажды в самом начале вечера, после сеанса в кинотеатре «Брэттл». Пока шел французский фильм, снаружи начался снегопад, Кембридж стремительно заметало, все говорило о том, что ночью будет метель. Перед входом в кинотеатр над Брэттл-стрит образовался сияющий ореол — такой же, как и над городком Клермон-Ферран в фильме. Машин почти не было, и соседские детишки собрались у входа в ресторан «Касабланка» с санками — они намеревались отправиться на реку Чарльз. Я им завидовал.

Домой не хотелось. Вместо этого я решил добрести до своей аптеки. Цель ничем не хуже любой другой. Я как можно стремительнее захлопнул стеклянную дверь, причем потопал снаружи ногами, прежде чем шагнуть под крышу. Внутри стояла молодая светловолосая женщина с мальчиком лет четырех и прижимала платок к носу сына. Мальчик пытался высморкаться, но безуспешно. Мать улыбнулась ему, продавщице, мне — едва ли не с извинением, потом свернула платок и еще раз поднесла к носу сына. «Noch einmal»*, — скомандовала она. Мальчик высунул голову из красного капюшона и постарался. «Noch einmal», — повторила она увещевающе, напомнив мне мою собственную маму: когда она уговаривала меня сделать что-то для меня полезное, голос ее наполнялся таким безграничным терпением, что я вдруг осознал, насколько отдалился от любви всех других. Через несколько секунд в зале потянуло холодом. Мать открыла дверь и вместе с закутанным ребенком вышла наружу.

Внутри остались только мы с продавщицей. То ли в такой зачарованный вечер у нее уже не было никакого желания заниматься работой, то ли потому, что время уже шло к закрытию, продавщица — она уже неплохо меня знала — предложила мне понюхать совершенно особую вещь, произнесла название духов.

Слышал такое? Мне показалось, что слышал, но, подумав, я усомнился. Не обращая внимания на мои попытки отговориться, она открыла крошечный флакон. Смочила стеклянную пробку и дотронулась ею до своей кожи жестом, который я воспринял как попытку погладить меня по щеке — меня бы это и не удивило, я давно ощущал,

* Еще раз (нем.).

что у нее ко мне слабость, в частности, поэтому и приходил, — но она мягко поднесла гладкое обнаженное запястье к моим губам, и я бы, наверное, поцеловал его, не подумав, если бы не видел раньше, как и другие торговцы парфюмерией делают в точности такой же жест.

Никогда раньше мне не доводилось нюхать ничего даже отдаленно похожего. Я одновременно оказался в Таиланде, во Франции и на судне, направлявшемся в Босфор, — на борту женщины, закутанные среди лета в меха, они обсуждают «Медленную часть» Веберна, поворачиваются ко мне, шепчут: «*Noch einmal?*» Аромат этот затмил все прочие, которые я знал раньше. В нем присутствовала лаванда, но лаванда развоплощенная, рассеянная, разрозненная — именно поэтому я попросил у продавщицы разрешение еще раз понюхать ее запястье, но она, видимо, уловила подтекст моей просьбы и засомневалась, как сомневался и я, что речь тут об одних лишь духах. Вместо этого она мазнула крышкой по полоске бумаги, которую выхватила из пенальчика, набитого такими же полосками, слегка помахала ею в воздухе, подсушивая, а потом вручила мне с заговорщицким видом — было видно, что ее моей любознательностью не проведешь, она уже догадалась, что в жизни моей и так уже есть как минимум две женщины, которым хочется одного: чтобы эта полоска, которую я принесу вечером домой, через несколько дней превратилась в подарочный флакон. Взгляд ее польстил мне невыразимо.

На третий вечер я пришел снова, потом опять — теперь уже не ради лавки, и не ради снега, и даже не ради призрачного вечернего свечения над Брэттл-стрит, но ради открытия, содержавшегося в этом флаконе, ради женщин в мехах, которые курили сигариллы на борту яхты, глядя,

как Геллеспонт тает вдали. Я даже не знал, были ли духи причиной моего там появления, или они уже превратились в предлог, в маску под маской, потому что, даже если на самом деле я приходил к продавщице или к тем женщинам, образ которых вызывало во мне искрение ее глаз, я одновременно ощущал, что за нею маячит силуэт другой женщины, моей матери, в другой парфюмерной маске, притом что я чувствовал, что и она, скорее всего, не более чем маска, за которой скрывается мой отец, в давние-давние уже времена: он стоит перед зеркалом, довольный тем, что он — тот мужчина, которым был, когда смачивал щеки лавандовой водой после бритья. И он, как теперь и все остальные, истончился до полупрозрачной маски, символа любви и счастья, которые я пытался обрести, но уже отчаялся. Точно непостижимый мираж, запах взывал ко мне с другого края пропасти, пересечь которую так трудно, что я подумал: возможно, это и с любовью никак не связано тоже, ибо любовь не может быть источником таких тягот, а значит, наверное, и любовь лишь маска, и если я жажду не любви, то, значит, слив этого водоворота, в котором я вращаюсь, обусловлен лишь мной — и мной только, — но мной, расточившимся в стольких пространствах, на стольких уровнях, что при попытке прикосновения я ускользаю подобно ртути, или скрываюсь подобно лантаноиду, или всплываю наверх, чтобы через миг превратиться в какое-то безнадежно безликое вещество.

Духи оказались настолько дорогими, что унести с собою я смог — предварительно рассыпавшись в новых извинениях, которые, похоже, стали для продавщицы доказательством того, что в моей жизни действительно есть другие женщины, — лишь взвесь на полоске бумаги. Полоску я сохранил как вещь, принадлежавшую человеку, уехавшему

на время: он меня не простит, если я не стану нюхать ее ежедневно.

Примерно через неделю, еще раз посмотрев тот же фильм, я выскочил из кинотеатра и зашагал к аптеке — но оказалось, что уже закрыто. Я постоял там несколько минут, вспоминая тот вечер, когда видел здесь мать с сыном, вспомнил ее светлые волосы, убранные под шляпу, глаза, которые, блуждая по залу, поймали мой взгляд, пока она уговаривала мальчика, — она будто уловила во мне одновременно и вождление, и зависть. Может, она нарочно сделала взгляд подчеркнуто материнским, чтобы пресечь любые попытки вступить в беседу? Может, продавщица перехватила мой взгляд?

И вот я представил себе, как мать с сыном выходят из лавки, на Черч-стрит, мать с трудом раскрывает зонт, и они направляются в сторону Кембридж-Коммон, бредут через пустынное поле, яркие сапожки глубоко увязают в снегу, спины повернуты ко мне навеки. Все это казалось настолько реальным, и исчезали они с такой торопливостью, подстегиваемые ветром, что я едва пресек порыв выкрикнуть единственные известные мне слова:

— Frau Noch Einmal*... Frau Noch Einmal...

Я тогда представил себе, что это мои жена с сыном, — я всю душу мечтал о том, что они у меня когда-то появятся. Я возвращаюсь домой с работы, выхожу из автобуса на Гарвардской площади, она в последний момент перед ужином выбежала туда же по делу, купить ему игрушку в аптеке, потому что утром пообещала: «Ну подумаешь, ну избалуем его слегка! Ну надо же — вот так вот столкнуться в снегу, да еще именно сегодня!» Но теперь, с расстояния

* Госпожа Еще Раз (нем.).

во много лет, я думаю, что она могла быть моей матерью, а тот мальчик — мной. А может, это, как всегда, просто маска. Я был одновременно и собой, и своим отцом, собой-студентом, вместо библиотеки отправившимся в кино, собой — отцом этого мальчика, причем лучше настоящего: я, наверное, дам ему подольше положенного насладиться детством, а в будущем стану давать ему неопределенные советы касательно грядущего, — и все это напомнило мне о том, что шпаргалки, которые мы тайком проносим с собой сквозь время, написаны симпатическими чернилами.

Тому мальчику из аптеки сейчас тридцать лет — на пять больше, чем было мне, когда я считал себя достаточно взрослым, чтобы назваться его отцом. При этом, если я и сегодня моложе его в его тридцать лет, все равно в тот заснеженный день я был куда старше нас обоих нынешних.

Время от времени я возвращаюсь к этим духам, особенно когда брожу по косметическому отделу на первом этаже очередного большого универмага. Я неизменно прикидываюсь тупицей: «А это что?» — спрашиваю я, изображая мужа-невежду, пытающегося срочно купить жене подарок. Мне рассказывают, меня опрыскивают, мне выдают надушенные полосочки, я их засовываю в карман пальто, вынимаю оттуда, кладу обратно, уношусь мыслями к тем дням, когда мечтал о жизни, которую, кажется, все-таки не прожил.

Возможно, аромат — это самая надежная маска, маска, отделяющая меня от мира, меня от меня, меня другого, теневого меня, за которым я следую, которого распознаю, но признать не могу, ощущая при этом, что эти разговоры про другого меня сами по себе — самая обманчивая маска. С другой стороны, возможно, аромат — это всего лишь метафора для слова «нет», которое я сочетал со всем, что видел, хотя спокойно мог на его место поставить «да» —

в разговорах с собой, с отцом, с жизнью, — возможно, потому, что я никогда и ничего в этом мире не любил достаточно сильно и надеялся скрыть этот факт от самого себя, заслонившись мыслью, что лучше мне поискать в другом месте, или потому, что я любил и вожделем каждый из этих ароматов, но все не мог решить, на котором остановиться, а значит, лучшее припрятал до того дня, когда подкатит вторая жизнь. Вот ведь занятно: вожделенными мне кажутся единственные духи — те, которые я так и не купил. Причем именно их все знакомые мне женщины коварно отказывались носить. Соответственно, при мысли о них вспомнить мне некого. Эти духи — символ придуманной жизни, но из них не лепится ни один образ.

Прошлой зимой я вернулся в ту аптеку с девятилетним сыном. Мы обходили окрестности — я теперь так всегда делаю, если возвращаюсь в места, которые слишком прочно вплетены в ткань моей жизни, так, что даже нет смысла задаваться вопросом, любил я их когда-то или нет. Как всегда, прикидываюсь, что выбираю духи для жены. «Как думаешь, эти маме понравятся?» — спрашиваю я у сына, надеясь, что он ответит «нет», он так и отвечает. Я извиняюсь. Мы рассматриваем зубные щетки, мыло, старомодную зубную пасту, вот передо мной даже отцовский лосьон для бритья — тарашится едва ли не с укором. Даю сыну его понюхать. Ему нравится. Спрашиваю, узнаёт ли. Узнаёт. Пробуем другой. Он ему тоже нравится. Ловлю себя на надежде, что сын сейчас создает собственные воспоминания.

Ничего не купив, мы открываем стеклянную дверь и выходим. Резкий поворот направо, шагаем через Коммон. Я пытаюсь рассказать сыну, что однажды, почти тридцать лет назад, увидел его здесь мельком. Он на меня

смотрит как на сумасшедшего. Или, может, это я себя тут увидел много лет назад, спрашиваю я у него. Он говорит мне взглядом: ну ты и ненормальный. Хочется ему рассказать про фрау Нох Айнмаль, вот только не подобрать слов. Вместо этого говорю: рад, что мы здесь вместе. Он отшучивается. Я отшучиваюсь в ответ.

Тем не менее я все же останавливаюсь немного постоять на том самом месте и вспоминаю, как в тот вечер едва не выкрикнул: «noch einmal», обращаясь к ветру на пустых заснеженных улицах Кембриджа, вспоминаю ту немку и ее счастливого мужа, как он каждый вечер возвращается с работы. Вот здесь, в двадцать пять лет, я придумал жизнь, которую надеялся прожить. А сейчас, в пятьдесят, на миг вернулся к этой жизни, существовавшей лишь в моем воображении.

Прожил ли я ее? Прожил ли я предназначенную мне жизнь? Которая из них важнее, которая мне лучше помнится: та, которую я придумал, или та, которая воплотилась в реальность? Или я уже сейчас, до срока, забываю их обе, жизнь одну за другой забирает назад те вещи, которые я надеялся сохранить навсегда, одну за другой переворачивает карты рубашкой вверх, чтобы сдать другому его талью?

Ла-Буйадис, июнь 2001 года

Домик, в котором мы гостим неподалеку от Экс-ан-Прованса, окружен зарослями лаванды, которые зыблются и волнуются всякий раз, как над полями пролетает ветер. Завтра последний наш день в Провансе, мы уже перестирали всю одежду и развесили сушиться на солнце. Я знаю, что в следующий раз эту рубашку надену уже на Манхэттене. Знаю и то, что запах солнечного света и лаванды,

укрывшийся в складках, вернет меня обратно в этот лучезарный провансальский день.

Десять утра, я стою в саду рядом с плетеной корзиной, куда сложено выстиранное белье. Жена пока не знает, что я решил развесить белье самостоятельно. Пусть ей будет сюрприз. И я уже сварил кофе.

И вот я вешаю полотенце за полотенцем, трусы мальчишек, их бесконечные футболки, носки, подкрашенные красноватой глиной из Руссийона — надеюсь, что она никогда не отстирается. Мне нравится запах. Нравится распределять рубашки по веревке, оставляя между ними не больше сантиметра. Нужно еще следить за прищепками, расхотовать их экономно, чтобы на все хватило. Знаю заранее: жена найдет, что покритиковать в моем методе. Мысль эта меня забавляет. Мне нравится эта работа, отупляющий ритм, на фоне которого все остальное выглядит таким простым и обыденным. И пусть бы оно продолжалось вечно. Начинаю понимать, почему люди так долго развешивают белье на просушку. Мне нравится запах пористой древесины прищепок, сложенных в глиняный горшок. Нравится запах глины. Нравится слушать перестук капель, падающих с наших больших полотенец на гальку, мне на ноги. Нравится стоять босиком, нравятся простыни, которые далеко не сразу повесишь ровно, и на каждую нужно по три прищепки, по две на концах и одна для полноты картины в середине. Я оборачиваюсь и, прежде чем взять в руки очередную рубашку, провожу пальцами по стеблю лаванды. Как здесь просто дотронуться до лаванды. Подумать, как много и долго я переживал, а вот ведь она, и она мне дарована, как золото было даровано инкам, которые, не задумываясь, отдавали его чужакам. Здесь желать уже нечего. *Quod cupio mecum est.* Что нужно, у меня уже есть.

Вчера мы ходили осматривать аббатство Сенанк. Я сфотографировал сыновей на фоне лавандового поля. На расстоянии лаванда кажется темной — этаким синяком на море зелени. Если подойти, каждое растение представляет собой обычный куст-переросток. Я научил сыновей растирать в пальцах цветки лаванды, не потревожив при этом пчел. Мы поговорили про монахов-цистерцианцев, про изготовление красок, спиртных напитков и ароматических экстрактов, а еще о святом Бернарде Клервоском, о торговых путях Средневековья, которые существуют и по сей день и тянутся от этих крошечных аббатств по всему миру. Я ведь убежден, что моя любовь к лаванде началась именно здесь, с эссенции, собранной с кустов, растущих на этом самом поле. Я ведь убежден, что здесь она и завершается, в самом начале. И тем не менее при всех моих убеждениях все может начаться заново: отец, мать, девушка с духами на запястье, фрау Нох Айнмаль, ее мальчуган, мой мальчуган, я сам в детстве, вечерняя прогулка по снегу, дух в бутылке, Розеттский камень внутри каждого из нас, который ни человеку, ни любви, ни дружбе не отвалить в сторону, жизнь, о которой мы думаем каждый день, жизнь непрожитая, жизнь, прожитая наполовину, жизнь, которой нам очень хочется зажить, пока еще есть время, жизнь, которую хочется переписать, — была бы возможность, жизнь, которая останется ненаписанной, а может, ее и невозможно было написать, и жизнь, которую, как мы надеемся, другие проживут гораздо лучше нас, — все это, и в этом я убежден, спрядено в одну нить, в которую вплетена вещь очень простая — тяга к единению с миром, к поискам нечто вместо ничто, а если это нечто найдется, его нужно удерживать до последнего, будь это даже всего лишь стебель лаванды.

Сокровенность

Я наконец-то снова на виа Клелия. Впервые я оказался рядом, когда вернулся в Рим почти сорок лет назад, второй раз — пятнадцать лет спустя, потом еще раз через три года. Но по ряду причин — связанных скорее с моим нежеланием сюда возвращаться — каждый раз либо дело было ночью, когда не видно ни зги, либо я не решился попросить таксиста свернуть направо и немного постоять, чтобы я успел взглянуть на наш старый дом. С виа Аппия-Нуова, многолюдной простонародной магистрали, виа Клелия видел лишь в отдалении. После третьего раза бросил попытки. Если я и приезжаю в Рим, то никуда не выбираюсь за пределы центра.

Однако летом позапрошлого года я вместе с женой и сыновьями сел на метро, и мы вышли на Фурио-Камильо, в двух кварталах к северу от виа Клелия — именно так, как я себе это и представлял. Два квартала — достаточное расстояние, чтобы свыкнуться с новым опытом, рассортировать впечатления, открыть шлюзы памяти, один за другим, — без усилий, опаски, церемоний. И те же два квартала нужны, чтобы возвести все необходимые преграды между мной и этой улочкой — прибежищем низов

среднего класса: ее неопрятное сварливое приветствие, когда четыре с лишним десятка лет назад мы, беженцы, высадились в Италии, я так и не смог забыть.

Я собирался зайти на виа Клелия там, где она пересекается с виа Аппиа-Нуова, и не спеша поздороваться с улицами, названия которых в основном взяты из Вергилия: виа Энея, виа Камилия, виа Эуриало, виа Турно, — и перенести далекое эхо имперского величия на этот обшарпанный кварталчик. Я собирался по пути навестить все неприметные достопримечательности: печатню (все еще на месте), утлую бакалею-пиццайоло, парочку угловых баров, мастерскую водопроводчика (закрылась), цирюльню на другой стороне улицы (закрылась тоже), табачную лавку, крошечный бордель — никто не решался заглядывать в дверной проем, когда две неряшливые старушечки оставляли дверь приоткрытой, то место, где хрупкого сложения уличный певец стоял каждый день после полудня и ревел бронхиальные арии, опознать которые было не просто, — а когда он прекращал гнусавить, слышно было лишь, как монетки дождем сыплются на мостовую.

Прямо над этим местом находился дом.

Продвигаясь по виа Клелия с женой и сыновьями, указывая им на разные подробности, которые я так досконально изучил за те три года, которые мы прожили здесь с родителями в ожидании американских виз, я поймал себя на мысли: хорошо бы, чтобы никого из тех, кого я знал в те дни, нынче уже не было в живых, а если они и живы, пусть меня не опознают. Не хотелось давать разъяснения, отвечать на вопросы, обниматься, прикасаться, подходить близко. Я всегда стыдился виа Клелия, стыдился ее славных обитателей, того, что когда-то жил среди них, стыжусь я и своих нынешних чувств, стыдился — об этом я сказал сыновьям — того, что вечно